

К. И. Зубков
**МОДЕРНИЗИРУЮЩАЯСЯ ИМПЕРИЯ
И ИСТОКИ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 г.**

УДК 930.1:94 (47)

ББК 63.3 (2) 535

В статье предлагается альтернативный марксистской и либеральной схемам теоретический взгляд на истоки и социальный смысл русской революции 1917 г., делающий упор на анализ цивилизационной специфики развития России в конце XIX — начале XX вв. Особое внимание уделено уникальности Российского государства как абсолютистской империи, чья историческая устойчивость объяснялась условиями «догоняющей» модернизации и необходимостью использования военно-бюрократических методов мобилизации разнородного в социально-экономическом и культурном отношении российского социума. Русский царизм, сочетавший в своей политике курс на развитие индустриального капитализма и консервацию отношений традиционного общества как опоры социального порядка, рухнул в феврале 1917 г., когда конфликт между формирующимся гражданским обществом и самодержавной формой правления, основанной на жесткой бюрократической регламентации и бесправии народа, достиг кульминации. Однако структурные деформации, присущие авторитарной модели развития капитализма, обусловили слабость и кризис буржуазной альтернативы социально-политического развития России в условиях начавшейся революции. Сужающиеся возможности выхода российского общества из ситуации системного распада, приведшие к захвату власти большевиками, обусловили определенный циклизм в дальнейшем развитии страны: большевистский режим вынужден был не только реализовать несостоявшуюся историческую миссию русского капитализма, но и в гораздо более жестких формах вернуться к авторитарным методам мобилизации общества.

Ключевые слова: *Россия, революция, абсолютизм, самодержавие, капитализм, модернизация*

Существует известный парадокс в том, что и по прошествии столетия Великая русская революция 1917 г. остается одним из самых загадочных событий в истории России. Хотя сегодня событийный контекст революционного кризиса от Февраля к Октябрю исследован впечатляюще подробно, едва ли не до дней и часов, это нисколько не приближает нас к пониманию социально-политического смысла революции и ее судьбоносных последствий для развития страны в XX в., включая не только триумфальные достижения советского социализма, но и крушение советского политического строя в 1991 г. Далеко не все здесь способна была разрешить простая смена идеологических ориентиров. Это стало ясно уже в начале 1990-х гг., когда в отечественной историографии происходила радикальная переоценка исторического пути страны в его отношении к мировому развитию в XX в.: политическая победа большевиков в 1917 г., надолго спроецировавшая на сознание большей части человечества бесклас-

совую коммунистическую (и одновременно «россиецентристскую») перспективу мирового развития, стала рассматриваться как отклонение от магистральной линии исторического развития, которая теперь отождествлялась, как и до 1917 г., с «европоцентристской» либерально-капиталистической перспективой. В этом качестве советский социализм, если следовать логике этой инверсии, не вышел за пределы утопического социального эксперимента, который, правда, в силу размеров и значения страны имел далеко идущие, отнюдь не эфемерные глобальные последствия.

Еще тогда, в 1992 г., анализируя предложенные американским историком М. Малиа три модели интерпретации русской революции 1917 г. — либеральную, консервативную и марксистскую, Г. А. Бордюгов и В. А. Козлов справедливо отмечали условность этой типологии. Восходя к определенному идеологическому клише, каждая из этих трех моделей в чем-то неоправданно упрощает реальный процесс революции, стремясь подогнать его под определенную схему. И при этом каждая модель по-своему беспомощна в объяснении ряда парадоксальных черт русской революции (например, «циклического» характера

ее итогов, но без явных признаков реставрации или попятного движения).¹ В качестве альтернативного подхода авторы предлагали обратиться к поиску «больших алгоритмов» истории России — конструктов, обеспечивающих «снятие» и конфигурирующий синтез тех элементов различных объяснительных концепций, которые фиксируют субстантивные, по большей части инерционные свойства русского исторического процесса (такие, как цикличность, «догоняющее» модернизационное развитие, «доктринальность», «тоталитарность» и др.). На наш взгляд, предложенный авторами подход, по сути, верен. Самый исчерпывающий фактографический эмпиризм автоматически не приводит к появлению теоретической концепции, как и ни одна привносимая из сферы идеологии модель не способна адекватно отразить всю сложность живого исторического процесса. Результаты дурного, догматического «детерминизма», замешанного на идеологии, наглядно видны в марксистско-ленинской интерпретации русской революции 1917 г.: там, где протекал единый, непрерывно развивающийся процесс революции, догматизм формационной теории потребовал выдумать две самостоятельные революции — Февральскую («буржуазную») и Октябрьскую («социалистическую»). Влияние марксистской схемы до сих пор ощущается в трактовке событий 1917 г. В этой связи русская революция, возможно, больше чем любое другое событие отечественной истории, нуждается в теоретическом переосмыслении.

Во-первых, для понимания социального смысла русской революции в исследовании ее причин необходимо перейти от объяснения отдельных событий, сыгравших спусковую, «триггерную» роль в начальной фазе революции (например, вспыхнувших в Петрограде продовольственных беспорядков), к анализу глубинных социальных противоречий, которые в этой ситуации превратили вспышки общественного недовольства в начало революционного процесса. Речь не идет о том, чтобы отказаться от анализа роли случайностей в развитии революции, поскольку, как, например, убедительно доказал Р. Дэниэлс, судьба революции 1917 г. действительно неоднократно находилась на зыбкой грани, где любая случайность могла кардинально повернуть

ход событий в том или ином направлении.² Скорее необходимо задаться вопросом о тех более устойчивых, базисных социально-политических условиях, которые смогли придать случайным событиям роль поворотных пунктов революционного процесса. Иначе говоря, необходимо перейти от исследования событийных причин революции к определению и изучению структурных.

Во-вторых, для выявления таких противоречий необходимо основательно пересмотреть некоторые исходные теоретические постулаты о социальной природе предреволюционного российского общества и государства (по крайней мере, начиная с пореформенного периода 1860–1870-х гг.). В этом вопросе искажающее и упрощающее влияние марксистской схемы проявилось особенно наглядно. Несомненно, для того чтобы понять какое-то общество, его анализ необходимо осуществить в широкой историко-социологической перспективе, на фоне которой может быть обнаружена его специфика. Вероятно, с этого пункта и целесообразно приступать к пересмотру устоявшейся точки зрения на социальные истоки русской революции.

В целом, представлять предысторию русской революции в марксистском ключе, как неизбежную и все более ускоряющую свой темп эволюцию феодального общества в капиталистическое, а самодержавно-феодальной монархии — в буржуазную, это, с нашей точки зрения, недопустимое упрощение реальной сложности того общественно-политического организма, каким являлась Россия в последние десятилетия XIX в. Марксистский шаблон, который, по проницательному замечанию К. Шмитта, в каждой политической и идеологической форме готов видеть только «рефлексы», «отражения», «другую одежду» экономических отношений,³ неоправданно игнорирует относительную самостоятельность политического фактора, который в случае России существенно трансформировал общее соотношение государственно-политических и социально-экономических процессов.

Определяющую роль политики обуславливал прежде всего перманентный режим «догоняющей» модернизации, в котором страна развивалась с начала XVIII в. и который выдвигал государство на роль главного и часто

¹ См.: Бордюгов Г. А., Козлов В. А. История и конъюнктура: Субъективные заметки об истории советского общества. М., 1992. С. 35–37.

² См.: Daniels R. V. The Bolshevik Gamble // The Russian Review. 1967. Vol. 26, № 4. P. 331–340.

³ См.: Шмитт К. Политическая теология. М., 2000. С. 66.

единственного актора институциональных и социально-экономических преобразований. Государство не только решало масштабные задачи наращивания военно-силового, экономико-технологического и культурного потенциала страны, но и структурировало для решения этих задач первоначально довольно аморфный социальный агрегат традиционного общества, пронизывая его жесткой сословной организацией. В типологии государственно-политических форм такой социально-политический конструкт до недавнего времени определялся как абсолютизм. В марксистской теории абсолютизм до сих пор трактуется как переходная от феодализма к капитализму политическая форма, обеспечивающая временное равновесие старых, нисходящих, и новых, восходящих, социальных классов. Сегодня многие специалисты по теории исторического процесса склонны рассматривать абсолютизм как вполне самостоятельную фазу всемирно-исторического развития,⁴ в какой-то мере возвращаясь к взглядам Й. Шумпетера. Определяя абсолютизм как общество-гибрид, как «феодализм на капиталистической основе», Й. Шумпетер отмечал, что абсолютизм не только поддерживал равновесие классов, но и формировал своей политикой целый ряд симбиотических социальных эффектов (в том числе между и противостоящими друг другу классами), например между нарождающейся буржуазией и военной опорой государства — дворянством. Зависимость между состоянием армии, сбором налогов и ростом промышленного класса — это симбиоз интересов, заставлявший абсолютистский режим выходить на орбиту политики, которая обнимала собой целостный организм общества, состоявший из групп, действовавших в едином ансамбле разделения и взаимодополнения функций.⁵ Ю. И. Семенов определил эту всеобъемлющую политически заданную систему экономики как политаризм; она, по мнению автора, включала в себя в качестве подчиненных «все остальные существующие в обществе уклады: крестьянско-общинный, купеческо-бюргерский, а затем и капиталистический».⁶

При всем сходстве политических форм абсолютизма в Европе и России, российский ва-

риант представлял собой несколько иное, стадияльно более отсталое соотношение социальных элементов, чем констатируемый Й. Шумпетером для Западной Европы «феодализм на капиталистической основе»: это был скорее «капитализм на феодальной основе» (при всей, конечно, условности наличия феодализма в России), воспроизводивший определявшие государственную мощь структурные компоненты западного капитализма за счет ресурсов традиционного общества. При этом, в отличие от Западной Европы, где абсолютизм вынужден был вступать в компромисс с интересами сословий и общественных корпораций, в России он с большей легкостью принимал наиболее жесткую и всеобъемлющую форму, поскольку опирался на традицию патримониального государства, в котором социальная структура общества формировалась через прикрепление всех общественных разрядов и сословий к объектам и служебным функциям единого государства-«домохозяйства».⁷ Это предполагало не только безраздельную власть государства над жизнью и имуществом подданных, но и его неограниченную свободу в перераспределении ресурсов в рамках этой единой и единственной «корпорации».

Разумеется, характеристика Российского государства как абсолютистского не исчерпывает всех его особенностей. На протяжении всего существования Российской империи ее структура воплощала громадные мобилизационные возможности государственной машины в относительно бедной, располагающей низкой нормой прибавочного продукта стране, что было принципиально важно для проведения модернизационных преобразований. Уже по одному этому основанию самодержавная монархия предстает чем-то гораздо более сложным, чем только чудом сохранявшимся реликтом ретроградного прошлого. Р. Хелли пишет о специфической для России модели «служебного государства», очень традиционного, но в то же время восприимчивого к прогрессивным сдвигам, которые совершались на протяжении всей истории России вплоть до становления советской политической системы на рубеже 1920-х и 1930-х гг. через механизм «революций» так называемого «служебного класса» (бюрократии).⁸

⁴ См.: Дьяконов И. М. Пути истории: От древнейшего человека до наших дней. М., 2007. С. 152–204; Семенов Ю. И. Философия истории. (Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней). М., 2003. С. 476, 477.

⁵ См.: Шумпетер Й. А. История экономического анализа: в 3 т. СПб., 2004. Т. 1. С. 183, 184.

⁶ Семенов Ю. И. Указ. соч. С. 476.

⁷ См.: Кавелин К. Д. Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989. С. 159–161.

⁸ См.: Hellie R. The Structure of Russian Imperial History // History and Theory. 2005. Theme Iss. 44. P. 88–112.

В этом контексте далеко не простой для решения видится трафаретная марксистская постановка вопроса о социальной базе русского самодержавия, точнее говоря, о том, интересы какого господствующего класса оно выражало. С высоты сегодняшнего понимания вопроса утверждение В. И. Ленина о том, что до Февраля 1917 г. «государственная власть в России была в руках одного старого класса, именно: крепостнически-дворянски-помещичьего»,⁹ выглядит не более чем конъюнктурным наложением упрощенной марксистской схемы на гораздо более сложную историческую реальность. Бесспорно, дворянство длительное время составляло единственный привилегированный и образованный класс страны, в массовом порядке поставлявший кадры для государственной службы; в истории России можно даже выделить этапы, когда правительственная политика могла быть охарактеризована как отчетливо продворянская (например, при Екатерине II). Однако, как отмечает Д. Ливен, начиная с реформ Петра I, который обременил дворянство довольно тяжелой службой, одновременно открыв в него доступ представителям других сословий, его судьба, в целом, испытала трансформации, плохо соотносимые с его положением как господствующего сословия. В силу возраставшей гетерогенности своего состава с точки зрения богатства, культуры, экономических и профессиональных интересов, дворянство не превратилось в единый класс, но и не стало правящей элитой, прежде всего вследствие тотальной подчиненности государству и отсутствия самостоятельных политических институтов, которые бы позволяли ему контролировать государственную машину и эффективно отстаивать свои интересы.¹⁰ Если самодержавие, в силу компромисса с традицией, прочно связало дворянство с государством, то на первом месте в этой связке определенно стояли интересы государства.

Об этом наглядно свидетельствуют результаты крестьянской реформы 1861 г., ни буржуазный, ни продворянский характер которой нельзя переоценивать. К. Д. Кавелин, анализируя ее первые итоги, отмечал, что она в настоящем смысле не удовлетворила ни дворянство, ни крестьянство, но прошла по некоей усредняющей бюрократической «равнодействующей», поставив оба сословия перед перспективой

непредсказуемой трансформации привычных основ существования.¹¹ Иначе говоря, реформа, лишив дворянство одних исключительных привилегий (крепостное право) и оставив другие, производные (образование, служебный опыт, богатство), тем не менее, ввергла его в неизбежный процесс новой социальной дифференциации и конкуренции с поднимающимся слоем разночинцев, ведя фактически к его распаду как единого сословия. Точно так же невозможно было подозревать имперскую власть в ясном и осознанном действии в таком направлении, которое в ближайшей перспективе превратило бы оборотистого дворянина или рачительного, работающего крестьянина в капиталиста. Мотивом правительства, вероятно, являлось стремление решить назревшую социально-экономическую проблему, не затрагивая при этом основ существовавшего социального порядка.

Все это переводит вопрос о социальной природе самодержавия в новую плоскость. В этой связи представляет интерес разработка М. Раевым концепта «полицейского государства» (понимаемого как ранний аналог государства «всеобщего благоденствия») в контексте сравнения России и германских государств.¹² Выясняется, что характерные для абсолютистского государства мотивы «общего блага», определяемые в терминах всеобщего благосостояния, безопасности, государственного интереса и т. п., не только являлись иллюзорной самореференцией власти, но и имели вполне реальное влияние на общий курс социальной политики государства.

Это заставляет предположить, что и в период ускорившейся к середине XIX в. буржуазной эволюции абсолютистское имперское государство, сформировавшееся в особых исторических условиях «догоняющего» развития и в значительной мере как инструмент мобилизации общества, во многом продолжало рассматривать свою миссию как надклассовую — в анахронических категориях «общего блага», которое заключалось в попечении над *всем* сословно организованным обществом. Это выражалось в претензиях правящей элиты на способность аккумулировать, наделять «разумом» и адекватно воплощать интересы разных групп населения в едином курсе государственной

⁹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 133.

¹⁰ См.: Lieven D. The elites // The Cambridge History of Russia. Cambridge, 2006. Vol. 2. P. 228, 229.

¹¹ См.: Кавелин К. Д. Указ. соч. С. 124, 125.

¹² См.: Raef M. The Well-Ordered Police State: Social and Institutional Change through Law in the Germanies and Russia, 1600–1800. New Haven, 1983.

политики, выдерживая равномерность прогресса во всех сегментах общества и регулируя одновременно тот набор служебных функций, которые надлежало выполнять отдельным сословиям и группам для достижения «общего блага», т. е. безопасности и могущества государства. Согласно Й. Арнасону, концепт «имперское государство» играл ключевую роль в генезисе этого «самосознания» власти, поскольку империя с характерными для нее универсалистскими притязаниями неизбежно проецирует это миропонимание не только вовне, но и на свой собственный общественный организм.¹³ Й. Арнасон полагает, что в этом смысле Российская империя представляла собой не столько антипод, сколько структурный прототип советской модели модернизации, и что мобилизационная мощь «само модернизирующейся» империи, хотя и покоится на ресурсах традиционного общества, уже существенно отличается от традиционной деспотии. По его мнению, абсолютистская империя, являясь движущей силой и главным актором изменений, обеспечивает их радикализацию, но при этом сама со временем становится не противовесом гражданскому обществу, а, напротив, концентрированным и динамичным выражением потенциала его «самотрансформации». Ориентированная на модернизацию империя порождает авторитарный, «структурно деформированный», но довольно динамичный тип развития капитализма, представляющий реальную (по крайней мере, на определенном этапе) альтернативу классическому западному варианту.¹⁴

Если принять эту точку зрения, то тогда смысловая дистанция между имперским и советским типами властвования существенно сокращается. Мы, конечно, далеки от мысли видеть в социально-политическом организме Российской империи, поддерживавшем жесткую стратификацию социума по признакам богатства, правового статуса, доступа к власти и т. п., что-то напоминающее современное социальное государство, тем более некую квазисоциалистическую систему, но некий общий смысловой ингредиент здесь угадывается, если, положим, трактовать «социализм» так, как его трактовал О. Шпенглер применительно к Пруссии.¹⁵ Однако о том, что российская власть — даже в лице крайних консервато-

ров — не была лишена интенций к созданию системы социального патернализма более современной и эффективной, чем патримониальная, говорят многие яркие примеры, в частности увлечение К. П. Победоносцева идеей консервативной «социальной реформы» Ф. Ле-Пле¹⁶ или нереализованная зубатовская идея «полицейского социализма».¹⁷

Надклассовая природа устойчиво приписывалась самодержавной абсолютистской империи и русским обществом XIX — начала XX вв. (за исключением разве что представителей марксизма). Революционными народниками эта идея истолковывалась в негативистском смысле: она служила основанием считать самодержавно-абсолютистскую систему паразитирующей на общинном строе деспотической оболочкой, которая таит в себе нерасчлененную социальную целостность, допускающую в будущем как буржуазное, так и социалистическое развитие. Из этого делался вывод о социальной беспочвенности самодержавия и о легкости будущего социального переворота силами революционного меньшинства.¹⁸ Консерваторам, например одному из идеологов контрреформ 1880-х гг. А. Д. Пазухину, незыблемость самодержавной власти и сословного строя виделась гарантией поддержания государственной мощи, они выводили ее из исторических особенностей складывания Российского государства в непрерывной борьбе с внешним врагом. Это делало страну как бы единым «военным лагерем», требовавшим объединения и четкой функциональной организации «всех народных сил» под началом сильной централизованной власти. Политическая организация такого общества определялась не разъединением и борьбой общественных элементов (как на Западе), а их объединением и превращением в «служебные силы» центральной власти.¹⁹ Идея милитарности как социально-интегрирующего начала, лежащего в основе самодержавного строя, не была чужда и либерально настроенной общественности. В сборнике статей, опубликованном в 1905 г. группой либеральных юристов и историков (В. М. Гессен, П. Н. Милуков, М. А. Рейснер и др.), Российская империя, например, определялась как «военно-национальное

¹³ См.: Arnason J. P. *The Future That Failed: Origins and Destinies of the Soviet Model*. London, 1993. P. 73, 74.

¹⁴ *Ibid.* P. 19, 20, 73.

¹⁵ См.: Шпенглер О. *Пруссачество и социализм*. М., 2002.

¹⁶ См.: Ле-Пле Ф. *Основная конституция человеческого рода*. М., 1897.

¹⁷ См.: Спиридович А. *Записки жандарма*. М., 1930.

¹⁸ См.: Ткачев П. Н. *Сочинения*: в 2 т. М., 1976. Т. 2. С. 147–149.

¹⁹ См.: Пазухин А. Д. *Современное состояние России и сословный строй*. М., 1886. С. 44.

государство», исторически помещаемое между «феодальным» и «промышленно-правовым» строем.²⁰ При этом авторов совершенно не смущало то, что в сопоставлении с эфемерной, теряющейся в глубине веков «феодальной» фазой «военное государство» — на удивление долговечная для России политическая форма, которая обеспечила стране несколько веков стабильного развития и продемонстрировала огромные адаптивные возможности. Исходя из своих либеральных убеждений, авторы статей рассматривали милитарный характер русской государственности лишь как предварительное начертание рационально организованной политической системы и даже прогнозировали известную легкость ее превращения в ближайшем будущем в конституционно-правовое государство, игнорируя тот факт, что самодержавный строй отличался если не своей правовой оформленностью, то, по крайней мере, собственной, глубоко укорененной и по-своему довольно логичной системой политических идей и принципов.

Секрет долговечности и устойчивости абсолютистско-имперской политической формы в России, ее полиморфности и многоликости заключался в ее способности вмещать в свое «политарное» пространство множество социально-экономических и культурно-бытовых укладов, выражающих разные, порой далеко отстоящие друг от друга стадии исторического прогресса. Военно-бюрократический тип государственной организации оказался удобным и гибким инструментом управления очень сложным и разнородным общественным организмом — таким инструментом, который мог на известном этапе обеспечивать в нем не только определенный социальный порядок, но и развитие. Д. Ливен объясняет эту специфику Российской империи ее выраженным, но вполне органично сформировавшимся дуализмом. По его мнению, Россия — это империя-гибрид, исторически отразившая промежуточное положение страны между Западом и Востоком. С одной стороны, это типологически близкая к восточным деспотиям огромная полиэтничная империя, управляющая глубоко традиционным, аграрным обществом посредством мощной централизованной бюрократии, высшее единство которой олицетворяет безраздельная власть абсолютного

монарха. (Близкими аналогами ей могут считаться Османская и Цинская империи). С другой стороны, географическая и культурная близость к Европе делала Россию — особенно в лице ее правящей элиты — очень восприимчивой к усвоению европейских институтов, технологий и идей, что служило основой периодически возобновляемых волн модернизации. В этом, по Д. Ливену, состояли и уникальность Российской империи (объяснимая только *sui generis*, а не из накладываемых на нее шаблонных схем), и основные дилеммы, присущие ее развитию.²¹

Уникальность имперско-абсолютистской политической формы, на наш взгляд, непосредственно связана с вопросом о ее органичности, соответствии тому состоянию социального агрегата российского общества и тому ансамблю экономических форм, которыми отличалась Россия к началу XX в. Следует, по-видимому, признать, что самодержавная монархия была, по существу, *единственно возможной* политической формой, которая могла обеспечивать единство столь разнородного в социально-экономическом и культурном отношении российского общества. Эту точку зрения в свое время убедительно обосновал Й. Шумпетер, отмечавший, что за либеральной и социалистической критикой русского самодержавия «совершенно потерялась та простая истина, что эта форма правления не менее точно соответствовала породившей ее социальной структуре, чем парламентская монархия в Англии или демократическая республика в Соединенных Штатах». По его мнению, «царизм как раз имел широкую опору среди огромного большинства всех классов» и вместе со всей его бюрократией, частичными реформами в аграрном секторе, покровительством промышленности и нетвердым движением к выхолощенному варианту конституционного строя был *вполне органичен*, соответствовал тому умеренному темпу социальной эволюции, которым развивалась Россия. Слабость пришедших на смену самодержавию буржуазных партий (в частности, кадетов), по Й. Шумпетеру, проистекала из того, что любая такая политическая группировка не имела столь широкой и глубокой связи с народной массой и ее отдельными слоями, какая была присуща царизму. Отсюда и тот паралич

²⁰ См.: Политический строй современных государств. СПб., 1905. Т. 1. С. VI, VII.

²¹ См.: Lieven D. Dilemmas of Empire 1850–1918. Power, Territory, Identity // Journal of Contemporary History. 1999. Vol. 34. No 2. P. 163, 164.

дееспособности, который буржуазные деятели продемонстрировали в период с февраля по октябрь 1917 г. Поэтому свержение монархии в феврале 1917 г. фактически означало не просто социальный раскол общества (явление, вполне типичное для революций), но его стремительно нараставший катастрофический распад. Это не оставило стране шансов каким-либо образом стабилизировать социальную ситуацию и неминуемо повело к той развязке, которая произошла в октябре. Согласно Й. Шумпетеру, самодержавие могло бы и дальше обеспечивать постепенную социальную эволюцию страны, если бы не «роковая случайность» — дестабилизирующее влияние Первой мировой войны и неспособность власти организовать жизнеобеспечение фронта и тыла в экстремальных военных условиях.²²

Соглашаясь в целом с этой оценкой, следует все же заметить, что любая «роковая случайность» требует выяснения структуры факторов, которые сообщают ей критическую роль поворотного пункта истории в условиях крайнего обострения трудностей. С этой точки зрения абсолютистская монархия, несмотря на свою впечатляющую стабильность и укорененность своего образа в привычках и менталитете общества, безусловно, была подвержена воздействию глубоких противоречий и даже испытывала затяжной кризис. Мы не склонны сводить эти кризисные явления только к тем группам социальных конфликтов, которые трафаретно, в соответствии со своей схемой исторического процесса, обнаруживала в России последних десятилетий XIX в. марксистская теория (помещики — крестьяне, дворянство — буржуазия, буржуазия — пролетариат и т. п.). Речь скорее должна идти о менее ясно выраженном, но зато всеобщем, социальном по характеру своих проявлений конфликте между формирующимся бессловным гражданским обществом и той системой сословно-бюрократической организации общества, на которой зиждилась абсолютистская монархия. Этот конфликт экзистенциального свойства особенно зримо нарастал по мере модернизации страны и, соответственно, прогрессирующей буржуазной эволюции общества.

Реформы 1860–1870-х гг. в этом отношении явились важным рубежом, за которым противостояние власти и общественности

приобрело почти открытые формы. Фактически, о пореформенном периоде можно говорить как об уже состоявшейся культурно-психологической «революции», устремившейся в дальнейшем, в 1905 и 1917 гг., лишь к своему политическому завершению. Современники, принадлежавшие к разным оттенкам политической мысли, довольно чутко уловили и однозначно определяли смысл происходивших перемен (хотя трактовали их по-разному). Ф. М. Достоевский, например, определил пореформенное время как период «общей шатости и неопределенности», когда с усилением подвижности общественной жизни в ней подспудно стала утверждаться «новая *условность*», вытеснявшая прежнюю иерархию статусов и выдвигавшая на место дворянина и чиновника в роли «лучших людей» выразителей власти «золотого мешка» — фигуры купца-миллионщика, биржевого игрока, ловкого адвоката.²³ А. Д. Пазухину же пореформенная Россия уже видится «раздвоенной» страной: России «исторической», опирающейся на сильную государственность и традиционные «народные начала», противостоит зараженная анархией, материализмом, цинизмом и стяжательством «другая» Россия, которая «заявляет о себе каждодневно и требованием конституции, и хищением общественного достояния, и подвигами тайной крамолы».²⁴ Гораздо более глубокую и точную оценку сути конфликта, по итогам революции 1905–1907 гг., дал С. Ю. Витте: «...главная причина нашей революции — это запоздание в развитии принципа индивидуальности, а следовательно, и сознания собственности и потребности гражданственности, а в том числе и гражданской свободы. Всему этому не давали развиваться естественно, а так как жизнь шла своим чередом, то народу пришлось или давиться, или силою растопыривать оболочку; так пар взрывает дурно устроенный котел — или не увеличивай пара, значит, отставай, или совершенствуй машину по мере развития движения».²⁵ Добавим: это противоречие коренилось в самой институциональной основе системы абсолютизма. Осуществляя модернизацию, самодержавие неизбежно порождало в обществе стремление к большей индивидуальной эмансипации,

²² См.: Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995. С. 422, 423.

²³ См.: Достоевский Ф. М. Дневник писателя. Избранные страницы. М., 1989. С. 330–332.

²⁴ Пазухин А. Д. Указ. соч. С. 3, 4.

²⁵ Витте С. Ю. Избранные воспоминания. 1849–1911 гг. М., 1991. С. 506.

расширению возможностей реализации частных интересов. А это, в свою очередь, делало анахронизмом лежащие в основе самодержавной формы правления идеи всеобъемлющей бюрократической регламентации и опеки над обществом, приоритета обязательственных, «служебных» отношений перед государством, подминавших под себя тесно связанную с частным интересом свободу личности. Поэтому одновременно с поощрением развития в буржуазном направлении самодержавие стремилось сдерживать процесс разложения старой системы власти, опираясь на консервацию социальных основ традиционного общества (помещичьего землевладения, крестьянской общины и т. п.). Возможно, если бы не вызванный войной кризис, этот неустойчивый баланс между старым и новым мог бы выдерживаться и дальше, постепенно смещаясь к победе новых начал.

Отсюда в контексте осмысления хода русской революции 1917 г. закономерен вопрос: была ли жизнеспособной в условиях начавшейся революции *буржуазная* альтернатива рухнувшей автократии, если невозможно подвергать сомнению всеобщий вектор буржуазной эволюции российского общества? Ответ на него, скорее всего, будет отрицательным. Несмотря на успехи капиталистической индустриализации в последнее двадцатилетие перед революцией, развитые формы капиталистического производства охватывали все еще довольно узкий сегмент российской экономики, которая на 80 % была представлена отсталым аграрным сектором. Даже в состоянии русской крупной промышленности имелось много несовершенств и уязвимых мест: она была «бедна капиталами, квалифицированными рабочими, техниками и инженерами», а ее размещение по территории страны было крайне неравномерным.²⁶ Однако для критической оценки капитализма как системно-политической альтернативы абсолютизму гораздо важнее нечто другое — его институциональная слабость, отдельные параметры которой (слабая легитимация частной собственности, недостатки правового режима, неразвитость контрактного права) детально проанализированы в литературе,²⁷ и то, что, несмотря на широкое распространение стихий-

но-меркантильных настроений, восприятие капитализма как движущей силы общественного прогресса еще довольно слабо проникло в толщу традиционного русского общества. Представление о том, что в рамках большой политарно-хозяйственной «оболочки», обнимающей все общество, государство в отношении капитала не сковано никакими правовыми ограничениями и вправе совершать любые преобразования отношений собственности во имя «общего блага», еще и в конце XIX в. прочно держалось в сознании даже образованной части русского общества. Негативное или, по крайней мере, равнодушное отношение к капитализму в обществе во многом объяснялось и специфическим характером проводимой царизмом политики «вращения» капитализма. В то время как сектор крупной капиталистической промышленности поощрялся к развитию созданными для него «тепличными» условиями (щедрыми государственными субсидиями, казенными заказами и т. п.) и потому воспринимался часто как искусственный нарост на теле «народной» экономики, обремененная фискальными поборами и крепостническими пережитками крестьянская экономика, при других условиях могущая служить почвой для широкого роста капитализма «снизу», характеризовалась крайне медленной эволюцией в буржуазном направлении. Абсолютистская модель модернизации в известном смысле поощряла такой тип развития капитализма, который базировался не на его собственных воспроизводственных возможностях, а на фискальной эксплуатации *всего* общества. В результате, в пореформенной России формировался хорошо знакомый по современным странам «третьего мира» феномен «двойной экономики».²⁸ Сохранявшийся с петровской эпохи культурный раскол российского общества довершал картину углублявшегося кризиса, делая программы буржуазных партий малопонятными и чуждыми народной массе. Февраль 1917 г. в этом смысле можно считать abortивной буржуазной революцией.

В этой связи дальнейшее развитие революции, имевшее своим закрепившимся итогом захват власти большевиками в октябре 1917 г., может быть осмыслено уже в перспективе *все более сужающихся* возможностей выхода из состояния общественного распада. Режим,

²⁶ См.: Прокопович С. Н. Народное хозяйство СССР. Нью-Йорк, 1952. Т. 1. С. 318.

²⁷ См., напр.: McDaniel T. Autocracy, Capitalism, and Revolution in Russia. Berkeley; Los Angeles; London, 1988.

²⁸ Об этом см.: Хорос В. Г. Идеиные течения народнического типа в развивающихся странах. М., 1980. С. 66.

провозгласивший утопическую программу построения бесклассового социалистического общества, с позиций даже классического марксистского учения, был еще *менее возможен* в условиях России, не прошедшей длительную школу капитализма, чем сам капитализм. Оказавшись в «ловушке» этих почти безвыходных обстоятельств, большевистский режим смог удержаться у власти и приступить к новой общественной «сборке» лишь за счет того, что в своем последующем развитии вынужден

был не только реализовывать несостоявшуюся историческую миссию русского капитализма, но и подвергнуть себя существенной «ре-традиционализации», т. е. воскресить (конечно, с поправкой на эгалитарно-утопический компонент своей идеологии) те стратегии и инструменты властвования, которые определялись исходным неразвитым состоянием социального агрегата российского общества и были во многом характерны для рухнувшего в феврале 1917 г. абсолютистского режима.

Konstantin I. Zubkov

Candidate of Historical Sciences, Institute of History and Archaeology, Ural Branch of the RAS (Russia, Ekaterinburg)

E-mail: zubkov.konstantin@gmail.com

MODERNIZING EMPIRE AND THE ORIGINS OF THE RUSSIAN REVOLUTION OF 1917

The article offers, as alternative to the Marxist and liberal schemes, a theoretical view on the origins and social sense of the Russian revolution of 1917 laying an analytical emphasize on the civilization specifics of Russia's development during the late 19th — early 20th centuries. Special attention is paid to the uniqueness of the Russian state as the absolutist empire whose historical steadiness is explained by conditions of the 'catch-up' modernization and the need to use military-bureaucratic methods for mobilizing the socio-economically and culturally heterogeneous Russian society. The Russian autocracy, combining in its policies the course for the development of industrial capitalism and the conservation of the traditional society as a foothold of societal order, had collapsed in February of 1917 when the conflict between the developing civil society and the autocratic form of rule based on the rigid bureaucratic regulation and the lack of civil rights, reached the culmination. However, structural distortions typical of the authoritarian pattern of capitalist development caused the weakness and crisis of the bourgeois alternative for Russia's socio-political development under the conditions of escalating revolution. Narrowing possibilities for the Russian society to go out of the system break-up, the fact that brought the Bolsheviks' seizure of the power, have caused a certain cyclical turn in the further development of the country: the Bolshevik regime was compelled not only to realize the failed mission of the Russian capitalism but also to return, in a far more stiff manner, to the authoritarian methods of mobilizing the society.

Keywords: Russia, revolution, absolutism, autocracy, capitalism, modernization

REFERENCES

- Arnason J. P. *The Future That Failed: Origins and Destinies of the Soviet Model*. London: Routledge, 1993, 239 p. (in English).
- Bordyugov G. A., Kozlov V. A. *Istoriya i konyunktura: Subyektivnye zametki ob istorii sovetskogo obshchestva* [History and conjuncture: Subjective notes on the history of Soviet society]. Moscow: Politizdat Publ., 1992, 352 p. (in Russ.).
- Daniels R. V. The Bolshevik Gamble. *The Russian Review*, 1967, vol. 26, no. 4, pp. 331–340. (in English).
- Dyyakonov I. M. *Puti istorii: Ot drevneyshego cheloveka do nashikh dnei* [Ways of history: From the oldest human to our days]. Moscow: KomKniga Publ., 2007, 384 p. (in Russ.).
- Hellie R. The Structure of Russian Imperial History. *History and Theory*, 2005. Theme Iss. 44, pp. 88–112. (in English).
- Kavelin K. D. *Nash umstvennyy stroy. Statyi po filosofii russkoy istorii i kulytury* [Our mental system. Articles on the philosophy of Russian history and culture]. Moscow: Izd-vo "Pravda" Publ., 1989, 654 p. (in Russ.).
- Khoros V. G. *Ideynye techeniya narodnicheskogo tipa v razvivayushchikhsya stranakh* [Ideological currents of the Narodnik type in developing countries]. Moscow: Nauka Publ., 1980, 286 p. (in Russ.).
- Lieven D. Dilemmas of Empire 1850–1918. Power, Territory, Identity. *Journal of Contemporary History*, 1999, vol. 34, no. 2, pp. 163–200. (in English).

- Lieven D.** *The elites. The Cambridge History of Russia*. Vol. 2: Imperial Russia, 1689–1917. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, pp. 227–244. (in English).
- McDaniel T.** *Autocracy, Capitalism, and Revolution in Russia*. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1988, 500 p. (in English).
- Prokopovich S. N.** *Narodnoe khozyaystvo SSSR* [The National Economy of the USSR], vol. 1. New York: Izd-vo im. Chekhova, 1952, 398 p. (in Russ.).
- Raeff M.** *The Well-Ordered Police State: Social and Institutional Change through Law in the Germanies and Russia, 1600–1800*. New Haven: Yale University Press, 1983, 284 p. (in English).
- Semenov Yu. I.** *Filosofiya istorii. (Obshchaya teoriya, osnovnyye problemy, idei i kontseptsii ot drevnosti do nashikh dney)* [Philosophy of history. (General theory, basic problems, ideas and concepts from antiquity to the present day)]. Moscow: “Sovremennye tetrady” Publ., 2003, 776 p. (in Russ.).
- Shmitt K.** *Politicheskaya teologiya* [Political theology]. Moscow: Kanon-Press-Ts; Kuchkovo pole Publ., 2000, 336 p. (in Russ.).
- Shpengler O.** *Prussachestvo i sotsializm* [Prussianism and Socialism]. Moscow: Praxis Publ., 2002, 240 p. (in Russ.).
- Shumpeter Y. A.** *Istoriya ekonomicheskogo analiza* [History of economic analysis], vol. 1. Saint Petersburg: “Ekonomicheskaya shkola”; SPbGUE; GU–VShE Publ., 2004, 496 p. (in Russ.).
- Shumpeter Y.** *Kapitalizm, sotsializm i demokratiya* [Capitalism, Socialism and Democracy]. Moscow: “Ekonomika” Publ., 1995, 540 p. (in Russ.).
- Spiridovich A.** *Zapiski zhandarma* [Notes of the gendarme]. Moscow: Izd-vo “Proletariy” Publ., 1930, 264 p. (in Russ.).
- Tkachev P. N.** *Sochineniya* [Compositions], vol. 2. Moscow: Mysly Publ., 1976, 645 p. (in Russ.).
- Vitte S. Yu.** *Izbrannye vospominaniya. 1849–1911* [Selected memories. 1849–1911]. Moscow: Mysly Publ., 1991, 708 p. (in Russ.).